



Романы и повести

Леонид Андреев

Сашка Жигулёв

«Public Domain»

1911

Андреев Л. Н.

Сашка Жигулёв / Л. Н. Андреев — «Public Domain»,
1911 — (Романы и повести)

Леонид Андреев (1871–1919) – писатель удивительно тонкой и острой интуиции, оставивший неповторимый след в русской литературе.

Изображение конкретных картин реально-бытовой жизни он смело совмещает с символическим звучанием; экспрессивно, порой через фантастические образы, но удивительно точно и глубоко Андреев проникает в тайное тайных человеческой психики. Роман знаменитого писателя начала XX века Леонида Андреева повествует о судьбе русского террориста.

Содержание

Часть 1	5
1. Золотая чаша	5
2. Детство Саши	6
3. Наставник мудрый	9
4. Дети растут	12
5. Сны	16
6. Трудное время	17
7. Отец	20
8. Бесталанные	24
9. Весна	30
10. Колесников	34
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Леонид Андреев

Сашка Жегулёв

Часть 1

Саша Погодин

1. Золотая чаша

Жаждет любовь утоления, ищут слезы ответных слез. И когда тоскует душа великого народа, – мятется тогда вся жизнь, трепещет всякий дух живой, и чистые сердцем идут на заклятие.

Так было и с Сашею Погодиным, юношею красивым и чистым: избрала его жизнь на утоление страстей и мук своих, открыла ему сердце для вещей зовов, которых не слышат другие, и жертвенной кровью его до краев наполнила золотую чашу. Печальный и нежный, любимый всеми за красоту лица и строгость помыслов, был испит он до дна души своей устами жаждущими и умер рано, одинокой и страшной смертью умер он. И был он похоронен вместе со злодеями и убийцами, участь которых добровольно разделил; и нет ему имени доброго, и нет креста на его безвестной могиле.

Кто закроет глаза убийце? До последнего суда остаются открыты они и смотрят в темноту покорно. Кто осмелится закрыть глаза Сашке Жегулеву?

Но мать жива, и мать зовет его:

– Мой нежный Саша.

2. Детство Саши

Того, что называют ясным детством, кажется, совсем не было у Саши Погодина. Хотя был он ребенком, как и все, но того особого чувства покоя, безгрешности и веселой бодрости, которое связано с началом жизни, не хранила его память. Казалось, не родился он, как другие, а проснулся: заснул старым, грешным, утомленным, а проснулся ребенком; и все позабыл он, что было раньше, но чувство тяжелой усталости и неведомых тревог лежало бременем уже на первых отроческих днях его. Давно, еще в Петербурге, когда был жив отец, подошел Саша к матери и странно-серьезным голосом пожаловался:

– Ах, мамочка, как я устал, если бы ты знала.

– Набегался, вот и устал, – сказала мать: она видела, как Саша с другими детьми только что носился дико по большому казенному двору и визжал от восторга, – поменьше шалить надо, тогда и не будешь уставать. Смотри, как измазался!

– Нет, я не от этого.

– А от чего же? – вот смешной!

– Так. Я так устал! Как же ты не понимаешь: просто так.

Тут Елена Петровна первый раз в жизни, как ей показалось, взглянула сыну в глаза и испугалась: «Умрет он от скарлатины!» – подумала она, так как в эту пору особенно боялась для детей скарлатины. Но эпидемия прошла мимо, и вообще Саша был совершенно здоров, рос крепко и хорошо, как и его младшая сестренка, нежный и крепкий цветочек на гибком стебельке, – а то темное в глазах, что так ее испугало, осталось навсегда и не уходило. Как и сестренка, Саша был отчаянно и неудержимо смешлив, и отец его, генерал, иногда нарочно пользовался слабостью: вдруг за чаем, когда у Саши полон рот, скажет что-нибудь смешное: Саша крепится, надует щеки, но не хватает сил – брызнет чаем на скатерть и бежит отсмеиваться в соседнюю комнату. Генерал хохочет и дразнит, а Елена Петровна всматривается в глаза вернувшегося Саши и думает: «Ну, конечно, он будет убит на войне» – в это время Сашу как раз отдали, по желанию отца, в кадетский корпус.

И, вероятно, от этого вечного страха, который угнетал ее, она не оставила Сашу в корпусе, когда генерал умер от паралича сердца, немедленно взяла его; подумав же недолго, распродала часть имущества и мебели и уехала на жительство в свой тихий губернский город Н., дорогой ей по воспоминаниям: первые три года замужества она провела здесь, в месте тогдашнего служения Погодина. Женщина она была твердая, умная, и ей казалось, что в мирной и наивной провинции она вернее сохранит сына, нежели в большом, торопливом и развращенном городе.

Приятный, несколько не изменившийся Н. не обманул надежд и с готовностью покрыл их своей ненарушимой тишиной. Перестал быть страшным и Саша: в своей мирной гимназической одежде, без этих ужасных погон, он стал самым обыкновенным мальчуганом; и от души было приятно смотреть на его большой пузатый ранец и длинное до пяток ватное пальто. Как это ни странно, но, кажется, ни одна гадалка, ни один прорицатель не могли бы так успокоить Елену Петровну, как это длинное не по росту ватное, точно накрахмаленное пальто; взглянет из окна, как плетется Саша по немощеной улице, еле двигает глубокими галошами, подгибая ватные твердые фалды, и улыбнется: «А я-то боялась... Какие же могут быть ужасы? Вот бы посмотрел генерал!»

Теперь ей казалось, будто и генерал – как она и после смерти называла мужа – разделял ее страхи, хотя в действительности он не дослушал ни одной ее фразы, которая начиналась словами: «Я боюсь, генерал...»

– А ты не бойся! – говорил он строго и отбивал охоту к тем смутным, женским излипаниям, в которых страх и есть главное очарование и радость.

Были и еще минуты радостного покоя, тихой уверенности, что жизнь пройдет хорошо и никакие ужасы не коснутся любимого сердца: это когда Саша и сестренка Линочка ссорились из-за переводных картинок или вопроса, большой дождь был или маленький, и бывают ли дожди больше этого. Слыша за перегородкой их взволнованные голоса, мать тихо улыбалась и молилась как будто не вполне в соответствии с моментом: «Господи, сделай, чтобы всегда было так!»

Но ссорились дети очень редко, были нежно влюблены друг в друга, целые дни проводили в тихой влюбленности. Когда-то сильная любовь отца и матери вторично переживала себя в них – но уже лишенная материальности, ставшая лишь отзвуком отдаленным, прекрасным и чистым. И так странно перемешались черты: Линочка всем внешним обликом своим и характером повторяла отца-генерала; крепкая, толстенькая, с румяным, круглым, весело-возбужденным лицом и сильным, командирским голосом – была она вспыльчива, добра, в страстях своих неудержима, в любви требовательна и ясна. Если она плакала, то это не были тихие слезы в уголке, а громкий на весь дом, победеносный рев; а умолкала сразу и сразу же переходила в тихую, но неудержимо-страстную лирику или в отчаянно-веселый смех. Была ли она радостна, гневна или печальна – об этом знали все. Но у генерала, на которого она так походила, при всех его достоинствах, не было никаких талантов, – Линочка же вся была прожжена, как огнем, яркой и смелой талантливостью. Возьмет в толстенькие, короткие пальчики карандаш – бумага оживает и смеется; положит те же коротенькие пальчики на клавиши: старый рояль с пожелтевшими зубами вдруг помолодел, поет, весело завирается; а то сама выдумает страшную сказку, сочинит веселый анекдот.

Рядом с нею молчаливый Саша казался неприметным и даже бледным. Лицом своим он и действительно был бледен и смугл, этим, как и всем остальным, походя на Елену Петровну: по матери своей Елена Петровна была гречанкой, лицо имела смуглое и тонкое, глаза большие, темные, иконописные – точно обведенные перегоревшим, но еще горячим, коричнево-черным пеплом. Такие же глаза были и у Саши, а смуглостью своей он удивлял даже и мать: лицо еще терпимо, а начнет менять рубашку – смотреть смешно и странно, точно и не сын, а совсем чужой и далекий человек. Удивляло это; а что еще удивляло и даже до глубины души огорчало Елену Петровну – это полное, казалось, отсутствие талантливости, прискорбное сходство с генералом. Первое время ихней жизни в Н., когда Елена Петровна всеми силами стремилась установить в своей жизни культ красоты, эта Сашина бездарность казалась ей ужасным горем, даже оскорбляла ее, точно ее самое лишили талантов или сказали, что она в своей талантливости ошибается и нет ее совсем.

– Ах, Саша, хоть бы у тебя слух был, а то и слуха нет! – несправедливо упрекала она сына и, чувствуя несправедливость, еще увеличивала ее: – Смотри, как играет Линочка.

А Линочка всплескивала руками и в бурном отчаянии стонала:

– Да и не говори же, родная моя мамочка! У него слуху, как у этой тумбы, нет на копейку. Учю я его, учу, а он даже собачьего вальса не знает!

– Собачий вальс я знаю, – серьезно говорил Саша, не поднимая темных, жутко обведенных глаз.

– Сашка! не зли меня, пожалуйста; под твой вальс ни одна собака танцевать не станет! – волновалась Линочка и вдруг все свое негодование и страсть переносила на мать. – Ты только напрасно, мама, ругаешь Сашеньку, это ужасно – он любит музыку, он только сам не может, а когда ты играешь эту твою тренди-бренди, он тебя слушает так, как будто ты ангельский хор! Мне даже смешно, а он слушает. Ты еще такого слушателя поищи! За такого слушателя ты Бога благодарить должна!

– Ну, понесла! – радовалась упрекам Елена Петровна, чуть-чуть краснея от удовольствия.

При всех своих талантах она сама была в музыке горестно бездарна и за всю свою жизнь только и научилась играть, что «тренди-бренди» – случайный, переиначенный отрывок из

неведомой пьесы, коротенькую вещицу, наивную и трогательную, как детский первый сон. И то, что этот странный Саша так любит эту вещицу, постоянно требует ее, льстило ей, а в неприязнительности звуков заставляло угадывать какой-то новый смысл, непонятную значительность. А для обреченного Саши, когда вступил он в череду страшных событий и познал ужас одиночества, эта пьеска стала как бы молитвой, источником чистой печали, тихой скорби о навеки утраченном.

Но, как видит глаз сперва то, что на солнце, а потом с изумлением и радостью обретает в тени сокровище и клад, – так и Линочкина яркая талантливость только при первом знакомстве и на первые часы делала Сашу неприметным. И менялось все с той именно минуты, как увидит человек Сашины глаза, – тогда вдруг и голос его услышит, а то и голоса не слышал, и почувствует особую значительность самых простых слов его, и вдруг неожиданно заключит: а что такое талант? – да и нужен ли талант? Но неохотно открывал Саша свой взгляд, как будто знал важность и святость хранящейся в нем тайны, обычно смотрел вниз, на стол или на руки. Эту его особенность хорошо знала Елена Петровна и в материнской гордости, чтобы не дать гостю несправедливо подумать о Саше, заставляла его взглянуть широко и прямо.

Вдруг неожиданно спрашивала:

– Голова не болит у тебя, Сашенька?

Знала, что после этого неожиданного и нелепого-таки вопроса Саша непременно взглянет широко открытыми глазами, несколько секунд будет смотреть удивленно, а потом открыто и ясно улыбнется:

– Отчего же ей болеть? – нет, не болит.

И знала, что после этого взгляда и улыбки гость обязательно подумает: «Какой у нее хороший сын!», а вскоре, уйдя из-под Линочкиных чар, подсядет к Саше, и начнет его допытывать, и не попытает ничего, и за это еще больше полюбит Сашу, и, уходя, уже в прихожей, непременно скажет Елене Петровне:

– Какие у вас хорошие дети, Елена Петровна!

– Да, славные ребятки! – спокойно ответит она и нарочно запустит сухую, но ласковую руку в Линочкины русые кудряшки, прижмет к себе ее горячую, красную щеку; и этим мнимым непониманием окончательно добьет провинившегося и жалкого гостя.

Но Линочка и сама разделяет чувство матери и, ласкаясь, смотрит на глупого гостя с явной насмешкой и страстно думает: «Вот дурак!» А потом, прощаясь с братом на ночь, шепчет ему громким на весь дом шепотом:

– Она тобою гордится! – И еще громче: – Я тоже!

«Она» между детьми называлась мать, а покойный и наполовину забытый отец назывался, по примеру матери, «генералом».

3. Наставник мудрый

Взаимной влюбленности детей, как и проявлению в них всего доброго, очень помогала та жизнь, которую с первых же дней пребывания в Н. устроила Елена Петровна. Труднее всего вначале было найти в городе хорошую квартиру, и целый год были неудачи, пока через знакомых не попало сокровище: особнячок в пять комнат в огромном, многодесятинном саду, чуть ли не парке: липы в петербургском Летнем саду вспоминались с иронией, когда над самой головой раскидывались мощные шатры такой зеленой глубины и непроницаемости, что невольно вспоминалась только что выученная история о патриархе Аврааме: как встречает под дубом Господа.

А в осенние темные ночи их ровный гул наполнял всю землю и давал чувство такой шири, словно стен не было совсем и от самой постели, в темноте, начиналась огромная Россия. Даже Линочка в такие ночи не сразу засыпала и, громко жалуясь на бессонницу, вздыхала, а Саша, приходилось, слушал до тех пор, пока вместо сна не являлось к нему другое, чудеснейшее: будто его тело совсем исчезло, растаяло, а душа растет вместе с гулом, ширится, плывет над темными вершинами и покрывает всю землю, и эта земля есть Россия. И приходило тогда чувство такого великого покоя, и необъятного счастья, и неизъяснимой печали, что обычный сон с его нелепыми грезами, досадным повторением крохотного дня казался утомлением и скукой.

Первое время петербургские дети боялись сада, не решались заходить в глубину; и особенно пугала их некая недоконченная постройка в саду, кирпичный остов, пустоглазый покойник, который не то еще не жил совсем, не то давно умер, но не уходит. Весь он пророс бурьяном, крапивой и красными цветами, а в одной из беззащитных комнат, где должны были жить люди, спокойно зеленела березка – хоронила кого-то. Но прошло время, и к саду привыкли, полюбили его крепко, узнали каждый угол, глухую заросль, таинственную тень; но удивительно! – от того, что узнавали, не терялась таинственность и страх не проходил, только вместо боли стал радостью: страшно – значит хорошо. И у каждого из детей уже появилось свое любимое тихое местечко, недоступное и защищенное, как крепость; только у девочки Линочки ее крепости шли по низам, под кустами, а у мальчика Саши – по деревьям, на высоте, в уютных извивах толстых ветвей. Ходили друг к другу в гости, и Линочка ужасалась.

И о чем бы ни задумывались дети, какими бы волнениями ни волновались, – начала всех мыслей и всех волнений брались в саду, и там же терялись концы: точно наставник мудрый, источающий знание глубокими морщинами и многодумным взором, учил он детей молчанием и строгостью вида. Без него, пожалуй, не узнал бы Саша так хорошо, ни что такое Россия, ни что такое дорога с ее чудесным очарованием и манящей далью. И если Россию он почувствовал в ночном гуле мощных деревьев, то и к откровению дороги привел все тот же сад, привел неумышленно, играя, как делают мудрые: просто взлез однажды Саша на забор в дальнем углу, куда никогда еще не ходил, и вдруг увидел – дорогу. Две стены ветхого забора и свесившихся деревьев, а посередине две теплые, пыльные, пробитые в ползучей траве колеи идут далеко, зовут с собою. И никого живого – тишина в глухой улочке: то ли уже проехал, то ли еще проедет. И как Саша ни старался, так и не удалось ему поймать неведомого, который проезжает, оставляя две теплые колеи; когда ни взлезет на забор, – на улочке пусто, тишина, а колеи горят: то ли уже проехал, то ли еще проедет. Так и не увидал неведомого и оттого свято поверил в дорогу, душою принял ее немой призыв; и впоследствии, когда развернулись перед Сашей все тихие проселки, неторопливые большаки и стремительные шоссе, сверкающие белизною, то уже знала душа их печальную сладость и радовалась как бы возвращенному.

Радовалась саду и Елена Петровна, но не умела по возрасту оценить его тайную силу и думала главным образом о пользе для здоровья детей; для души же ихней своими руками

захотела создать красоту, которой так больно не хватало в прежней жизни с генералом. Начала с утверждения, что красота есть чистота, – и что же она делала для чистоты! Знала она, что все дети любят грязь, и прямо, как умная, с грешной страстью не боролась, но мыла детей немилосердно, шлифовала их, как алмазы, и таки приучила: самостоятельно, два раза, утром и вечером, вытираться холодной водой, – уже они и сами не могли без этого обходиться. И, не любя животных, кошку даже с котятками терпела только за то, что она всегда чиста и умывается. Говорила:

– Смотри, Линочка! – с Линочкой ей было много труда, – смотри: и где только сегодня она ни была, сейчас после дождя бежала по двору, а какая чистая! Оттого, что умывается.

А кошка с темным прошлым мерцала загадочно желтыми глазами, жила еще в прошлом; но вдруг опомнилась и начала свой длительный и приятный обряд.

И всю квартиру свою Елена Петровна привела к той же строжайшей чистоте, сделала ее первым законом новой жизни; и все радовалась, что нет денщиков, с которыми никакая чистота невозможна. Потом занялась красотой вещей. Со вкусом, составлявшим неразрешимую загадку для захолустного Н., вдруг изменила обычный облик всех предметов, словно надышала в них красотой; нарушила древние соотношения, и там, где человек наследственно привык наткаться на стул, оставила радостную пустоту. Сама распила занавеси на окнах и дверях, подобрала у окон цветы, протянула по стенам крашеную холстину – что-то зажелтело, как солнечный луч, а там ушло в мягкую синеву, прорвалось красным и радостно ослепило. Наружу зима, а в комнатках весна и осень, цветы цветут, и на блестящем полу, золотых пятнах солнечных, хочется играть как котенку.

И всем, кто видел, нравилось жилище Погодиных; для детей же оно было родное и оттого еще красивее, еще дороже. И если старый сад учил их Божьей мудрости, то в Красоте окружающего прозревали они, начинающие жить, великую разгадку человеческой трудной жизни, далекую цель мучительных скитаний по пустыне. Так по-своему боролась с Богом Елена Петровна. Но одного все же не предусмотрела умная Елена Петровна: что наступит загадочный день, и равнодушно отвернутся от красоты загадочные дети, проклянут чистоту и благополучие, и нежное, чистое тело свое отдадут всечеловеческой грязи, страданию и смерти.

Было одно неудобство, немного портившее квартиру: ее отдаленность от центра и то, что в гимназию детям путь лежал через грязную площадь, на которой по средам и пятницам раскидывался базар, наезжали мужики с сеном и лыками, пьянствовали по трактирам и безобразничали. Трактирами же была усажена площадь, как частоколом, а посередине гнила мутная сажалка, по которой испокон веку плавали запуганные утка и селезень с обгрызанным хвостом; и если развешенное сено и соломинки и давали вид некоторой домовитости, то от конской мочи и всяких нечистот щипало глаза в безветренный день. Линочка, в первый раз пройдя по площади, сразу возненавидела мужиков, Саша же отнесся с крайним любопытством, хотя и испугался немного и задыхал чаще. Но скоро привык, и что-то даже понравилось: запах ли дегтя или даже конской мочи, окладистые ли бороды, полушубки, пьяные песни – он и сам не знал. Одно он видел: они были совсем другие, чем все, как будто из другого царства, и это и есть их главный и огромный интерес. Очень возможно, что тут была обычная романтика ребенка, много читавшего о путешествиях; но возможно и другое, более похожее на странного Сашу: тот старый и утомленный, который заснул крепко и беспамятно, чтобы проснуться ребенком Сашей, увидел свое и родное в загадочных мужиках и возвысил свой темный, глухой и грозный голос. Его и услышал Саша.

По воскресеньям Елена Петровна ходила с детьми в ближайшую кладбищенскую церковь Ивана Крестителя. И Линочка бывала в беленьком платье очень хорошенькая, а Саша в гимназическом – черный, тоненький, воспитанный; торжеством было для матери провести по народу таких детишек. И особенно блестела у Саши медная бляха пояса: по утрам перед церковью сам чистил толченым углем и зубным порошком.

Нищенки-старухи у кладбищенских белых ворот относились к Елене Петровне враждебно и звали ее между собой: «генеральша-то!». Но когда показывалась она с детьми, то высыпали ей навстречу и пели льстивыми голосами:

– Матушка! Деточки-то! И даст же Господь! Матушка!..

От знакомств Елена Петровна уклонялась: от своего круга отошла с умыслом, а с обывателями дружить не имела охоты, боялась пустяков и сплетен; да и горда была. Но те немногие, кто бывал у нее и видел, с каким упорством строит она красивую и чистую жизнь для своих детей, удивлялись ее характеру и молодой страстности, что вносит она в уже отходящие дни; смутно догадывались, что в прошлом не была она счастлива и свободна в желаниях.

Но даже и дети не знали, что задолго до их рождения, в первую пору своего замужества, она пережила тяжелую, страшную и не совсем обычную драму, и что сын Саша не есть ее первый и старший сын, каким себя считал. И уж никак не предполагали они, что город Н. дорог матери не по радостным воспоминаниям, а по той печали и страданию, что испытала она в безнадежности тогдашнего своего положения.

Это было за семь лет до Саши, и генерал тогда сильно и безобразно пил – даже до беспамьятства и жестоких, совершенно бессмысленных поступков, не раз приводивших его на край уголовщины; и случилось так, что, пьяный, он толкнул в живот Елену Петровну, бывшую тогда на седьмом месяце беременности, и она скинула мертвого ребенка, первенца, для которого уже и имя мысленно имела: Алексей. И хотя Погодин и уверял, что ударил нечаянно, – и, кажется, это была правда, – оскорбленная женщина решительно отказалась от детей и всякой близости с мужем, пока он совсем и навсегда не бросит пить. Целый год генерал выдерживал пытку и жил с женой в одном доме, но как посторонний; потом на три года разъехался с Еленой Петровной и все три года отчаянно пил и путался с женщинами. И снова поселился с женой, пробуя обмануть ее, и снова разъехался – пока, наконец, побледневший от злобы и неутолимой любви, не расплакался у ее ног и не дал страшной клятвы, обета трезвости.

И вторично стала женою его Елена Петровна, и родила ему Сашу, а через полтора года и Линочку; и даже не знали дети, что отец их пил когда-нибудь. Твердо держал свою клятву генерал, но уже незадолго до смерти, после одного из страшных своих сердечных припадков, вдруг прохрипел жене:

– Ты думаешь, я для тебя не пью? Ну так знай же, что я тебя ненавижу и проклинаю... изверг! Убить тебя мало за то, что ты мне сделала.

Но тут поняла и она, что нет и у нее прощения и не будет никогда – и сама смерть не покроет оскорбления, нанесенного ее чистому, материнскому лону. И только Саша, мальчик ее, в одну эту минуту жестокого сознания возрос до степени высочайшей, стал сокровищем воистину неоцененным и в мире единственным. «В нем прощу я отца», – подумала она, но мужу ничего не сказала.

С тем и умер генерал. И ничего не знали дети.

4. Дети растут

Года три жила Елена Петровна спокойно и радостно и уже перестала находить в Саше то особенное и страшное; и когда первую в чреде великих событий, потрясших Россию, вспыхнула японская война, то не поняла предвестия и только подумала: «Вот и хорошо, что я взяла Сашу из корпуса». И многие матери в ту минуту подумали не больше этого, а то и меньше.

Но уже близилось страшное для матерей. Когда появились первые подробные известия о гибели «Варяга», прочла и Елена Петровна и заплакала: нельзя было читать без слез, как возвышенно и красиво умирали люди, и как сторонние зрители, французы, рукоплескали им и русским гимном провожали их на смерть; и эти герои были наши, русские. «Прочту Саше, пусть и он узнает», – подумала мать наставительно и спрятала листок. Но Саша и сам прочел.

– Отчего ты такой бледный, Сашенька? Устал в гимназии?

– Устал.

– Тебе не хочется говорить? А я думала прочесть тебе про «Варяга».

– Мы уже читали.

Она не расслышала слова «мы» и видела только хмурую бледность, вдруг заметила, что обвод глаз стал словно чернее и сами глаза глубже. И не успела еще осмыслить замеченного, как поднял Саша эти самые свои пугающие глаза и строго сказал:

– Ты не имела права. Зачем ты взяла меня из корпуса? Ты не имела права. Отец не позволил бы брать, если бы не умер.

Она чуть не закричала, но сдержалась и сухо, избегая взгляда, сказала:

– Тебе четырнадцать лет! Этого слишком еще мало, чтобы судить о поступках матери. И ты сам никогда не хотел военной службы.

– Ты не имела права. Люди там умирают, а ты меня бережешь. Ты не имеешь права меня беречь.

– Саша!

Но он не стал говорить и ушел в сад, на узенькую дорожку в снегу, которую прочистил сам; и ходил до самых синих сумерек раннего зимнего заката. Если бы он заплакал, знала бы, как поступить, чтобы утишить детское горе, но страдание молчаливое и сдержанное делало ее бессильною и пугало: слишком много чувствовалось в нем непонятной мужской силы. «Говорит такое, а сам и не волнуется как будто», – подумала Елена Петровна про Сашины жуткие глаза. Но когда подошла к зеркалу, чтобы оправиться, как по женской своей привычке делала после каждого сильного волнения, то увидела, что и она по внешности совсем спокойна и даже незачем оправляться. Долго смотрела Елена Петровна на свое отражение и многое успела пере-думать: о муже, которого она до сих пор не простила, о вечном страхе за Сашу и о том, что будет завтра; но, о чем бы ни думала она и как бы ни колотилось сердце, строгое лицо оставалось спокойным, как глубокая вода в предвечерний сумрак. Отходя, она провела рукой по гладким волосам и решила: «Это у нас характер такой... что ж, я очень рада».

Тяжелый и опасный разговор не возобновлялся по тайному соглашению матери и сына, а вскоре Елена Петровна и совсем позабыла о холодной и странной вспышке. К тому времени с Дальнего Востока потянуло первым холодом настоящих поражений, и стало неприятно думать о войне, в которой нет ни ясного смысла, ни радости побед, и с лёгкостью бессознательного предательства городок вернулся к прежнему миру и сладкой тишине. Успокоились и городские дети, и хотя по-прежнему играли в войну, но охотнее именовали себя японцами; но увлекались японцами и взрослые, ставили в пример их отношение к смерти и даже маленький рост.

Как-то вечером, уже в первых числах марта, разразилась последняя свирепая метель, и голый сад загудел напряженно и страстно; казалось, будто весь он поднялся на воздух и летит стремительно, звеня крылами и тяжело вздыхая обнаженной грудью. Мамы не было дома, она

ушла еще после обеда куда-то в гости, и Линочка рисовала, когда в тихую комнатку ее тихо вошел Саша и сел у стола, в зеленой тени абажура. Та же зеленая тень крыла и Линочкино лицо, делая его худее и воздушней; а короткие пальчики, ярко освещенные и одни как будто живые, проворно и ловко работали карандашом и резинкой. На Сашу она не взглянула, так как привыкла к таким посещениям, и только через минуту сказала, не поднимая глаз от рисунка:

– Теперь в лесу волки.

– Что-то не хочется читать, – сказал Саша. – У тебя в комнате теплее, а у меня снег бьет прямо в окна.

– Ну и сиди, грейся.

Замолчали. Саша слушал, как в звоне и гуле улетает сад; и странно было, что сквозь его мощный рев пробивается тихое, уютное поскрипывание карандаша по бумаге – странно и приятно.

– Лина!

– Ну?

– Ты любишь называть меня греченочком. Пожалуйста, не называй меня так, я не хочу быть похожим на грека.

– Да родной же мой Сашечка...

Крепко потерла резинкой и продолжала:

– Да родной же мой Сашечка! – отчего не называть? Греки бывают разные. Ты думаешь, только такие, которые небритые и с кораллами... а Мильтиад, например? Это очень хорошо, я сам, я сама хотела бы быть похожей на Мильтиада.

– Нет, я не хочу. Я хочу быть похожим на русского.

– Ну как хочешь! Русский так русский.

Снова помолчали. Саша сказал:

– Байрон был великий поэт. Он умер, сражаясь за свободу греков.

– Я знаю, – ответила Линочка, хотя в первый раз услышала, что Байрон умер за свободу. – Не мешай, Сашечка, а то навру.

– А она похожа на гречанку.

– Мама?

Вопрос был нов и интересен, и Линочка положила карандаш. Оба, нахмурившись, смотрели друг на друга, вспоминая, что видели греческого, но только и могли вспомнить, что гимназическую гипсовую Минерву с крутым подбородком и толстыми губами.

– Нет, не похожа! – решила Линочка, вздыхая от натуги.

Саша улыбнулся в своей зеленой тени:

– А я знаю, на кого она похожа. Сказать? Она похожа на одну бабу с базара, которая продает селедки, такая закутанная в платок.

– Ну вот глупости, нашел с кем сравнить! Мама такая... – Линочка искала слова, но не нашла, – такая... барыня.

– Нет, правда. Я не могу тебе объяснить, но она ужасно, ужасно похожа! Особенно, когда никто не покупает и она сидит так, сложив руки, и совсем не шевелится, а из-под платка такие ужасно огромные глаза. Ты не думай, я ее уважаю.

– погоди, не мешай, я припоминаю.

Линочка совсем спрятала глаза в брови и полураскрыла рот; и вдруг задохнулась и зло-вещим шепотом сказала:

– Сашенька! Я нашла!

И все более таинственным шепотом, округлив глаза, шептала:

– В нашей церкви... знаешь? – есть на левой стороне картина... знаешь? – и там нарисована одна святая, и ну вот! Она похожа на икону!

– Правда? – поверил Саша.

– Нет, ты подумай, как это страшно: на икону!

Оба испугались. Мама, обыкновенная мама, такой живой человек, которого только сейчас нет дома, но вот-вот он придет, – и вдруг похожа на икону! Что же это значит? И вдруг она совсем и не придет: заблудится ночью, потеряет дом, пропадет в этом ужасном снегу и будет одна звать: – Саша! Линочка! Дети!..

– Куда ты, Саша?

– Встречать маму.

– Иди, иди! Какой ветер!

– Она сказала, что зайдет к Добровым.

– А калоши?

– Я без калош.

В прихожей не было огня, и в окно смотрела вечно чуждая людям, вечно страшная ночь.

– Где моя тужурка?

– Вот. Я держу. Иди, иди!

После этого страшного вечера, закончившегося, однако, совсем благополучно: Елена Петровна уже подъезжала к дому на извозчике и встретила Сашу у самой калитки, – связь между детьми и матерью как будто еще окрепла, а в обращении Саши появлялась особая мягкость, сдержанная нежность и какое-то своеобразное джентльменство. Словно в этот именно вечер, сознав себя взрослым, Саша по-мужски услуживал матери, провожал ее по вечерам и уже пробовал, насилуя свой рост, вести ее под руку. Но делал он это с таким достоинством, что не пришло в голову улыбнуться ни Линочке, ничего неестественного не заметившей, ни самой Елене Петровне. Ходил Саша тайно от Линочки и в церковь, где была картина, и нашел, что сестра права: какое-то сходство существовало; но он не долго думал над этим, порешив с прямолинейностью чистого ребенка: «Все матери святые». Но то, что всегда знала мать: боязнь утраты – почувствовал и Саша, узнал муку любви, томительность безысходного ожидания, всю крепость кровных уз... Ибо суждено ему было теми, кто жил до него, поднять на свои молодые плечи все человеческое, глубиной страдания осветить жестокую тьму. Только те жертвы принимают жизнь, что идут от сердца чистого и печального, плодоносно взрыхленного тяжелым плугом страдания.

Так жили они, трое, по виду спокойно и радостно, и сами верили в свою радость; к детям ходило много молодого народу, и все любили квартиру с ее красотой. Некоторые, кажется, только потому и ходили, что очень красиво – какие-то скучные, угреватые подростки, весь вечер молча сидевшие в углу. За это над ними подсмеивался и Саша, хотя в разговоре с матерью уверял, что это очень умные и в своем месте даже разговорчивые ребята.

– Чего же они тогда молчат? – негодовала Елена Петровна, имевшая, как и Линочка, среди гимназистов своих врагов и друзей.

– Не знаю, боятся, что ли! Ты не сердись на них, мама. Они говорят, что только у нас и видят настоящую жизнь.

– Врут! – определяла Линочка, – Тимохин даже танцевать не умеет, я ему предложила, а он смотрит на меня, как бык с рогами.

– Тимохин один у нас во всем классе сам учится английскому языку, почти уже выучился, – сказал Саша.

– Какой англичанин!

Но Елена Петровна уже примиряла:

– Конечно, это хорошо, но только как же он с произношением?.. И совсем не надо всем танцевать, а ведь можно же спорить, как другие... Впрочем, не знаю, ты их лучше знаешь, Сашенька!

И в следующий раз усиленно любезничала с нелюбимцами, а те от этого крепче замолкали, и она снова негодовала и жаловалась. Но это были пустяки, а, в общем, все дети были так

хороши, что хотелось только глядеть на них из уголка и радоваться. И тем особенно были они хороши, что не было ни одного лучше Саши: пусть и поют и поражают остроумием, а Саша молчит; а как только заспорят, сейчас же каждый тянет Сашу на свою сторону: ты согласен со мною, Погодин? И с кем Погодин согласился, тот считает спор оконченным и только фыркает – точно за Сашиным тихим голосом звучат еще тысячи незримых голосов и утверждают истину.

Но этому свойству Сашиного голоса удивлялась и не одна Елена Петровна; и только сам он, кажется, ничего не подозревал.

5. Сны

...Но откуда эта тайная тоска, когда все так хорошо и жизнь прекрасна! Не радуется ли утро дню и день вечеру? – и не всегда ли плывут облака, и не всегда ли светит солнце и плещется вода? Вдруг среди веселой игры, беспричинного смеха, живого движения светлых мыслей – тяжелый вздох, смертельная усталость души. Тело молодо и юношески крепко, а душа скорбит, душа устала, душа молит об отдыхе, еще не отведав работы. Чьим же трудом она потрудилась? Чьею усталостью она утомилась? Томительные зовы, нежные призывы звучат непрестанно; зовет глубина и ширь, открыла вещие глаза свои пустыня и молит: Саша! Линочка! Дети! Или спит Саша крепко, и этот ночной гул мощных деревьев навевает ему сны о вечной усталости, о вечной жизни и беспредельной широте?

Открывает глаза и видит в светлеющее окно: машут ветви, и это они гонят в комнату тьму, и от самой постели тьма и от самой постели Россия.

Но зачем так ярки сны? Видит Елена Петровна, будто ночью забеспокоилась она о Саше и в темноте, босая, пошла к нему в комнату и увидела, что смятая постель пуста и уже охолодала. Подогнулись ноги, села на постель и тихо позвала:

– Саша!

И откуда-то издалека Саша ответил:

– Мама!

Позвала еще:

– Иди сюда, ко мне... Саша!

Но уже не было ответа на этот зов.

Проснулась Елена Петровна и видит, что это был сон и что она у себя на постели, а в светлеющее окно машут ветви, нагоняют тьму. В беспокойстве, однако, поднялась и действительно пошла к Саше, но от двери уже услышала его тихое дыхание и вернулась. А во все окна, мимо которых она проходила, босая, машут ветви и словно нагоняют тьму! «Нет, в городе лучше», – подумала про свой дом Елена Петровна.

6. Трудное время

Но уже наступило страшное для матерей, пришло незаметно, стало тихо, оперлось крепко о землю своими чугунными ногами. Кто думает, отрывая ежедневно листки календаря, что время идет? Красная кровь уже хлынула с Востока на Россию, вернулась к родным местам, малыми потоками разлилась по полям и городам, оросила родную землю для жатвы грядущего. Было спокойно, и вдруг стало беспокойно; и кто из живущих мог бы назвать тот день, тот час, ту минуту, когда кончилось одно и наступило другое? Когда пришла кровь? Что было раньше, а что было позже? И было ли?

Когда это было, что Саша вернулся домой в четыре часа ночи и перепугал Елену Петровну своим видом – до убийства министра или после? И в этот ли именно раз напугал ее своим видом, или в другой, похожий, или совсем непохожий? Нет, в этот. Нет, в другой. Это было уже тогда, когда начались казни... а когда начались казни? До именин Линочки, когда пили почему-то шампанское, и Елена Петровна пила, и все пели, и было так весело, что и вспомнить трудно, – или после? Нет, конечно, раньше, тогда, когда к ним еще все ходили, и дети по вечерам бывали дома, и Саша вслух читал «Видение Валтасара»:

Падут твердыни Вавилона,
Неотразим судьбы удар...

Но дома ли читал Саша байроновские стихи или же на вечеринке? Да, кажется, на какой-то вечеринке или вообще в гостях; и ему еще много аплодировали.

А когда к ним перестали ходить, – когда был этот ужасный вечер, эта несчастная суббота, в которую никто не явился? Выскочивший из связи времен – как ярко помнится этот вечер со всеми его маленькими подробностями, вплоть до лампы, которая чуть-чуть не начала коптить.

Уже пробило девять, а никто не являлся, хотя обычно гимназисты собирались к восьми, а то и раньше, и Саша сидел в своей комнате, и Линочка... где была Линочка? – да где-то тут же. Уже и самовар подали во второй раз, и все за тем же пустым столом кипел он, когда Елена Петровна пошла в комнату к сыну и удивленно спросила:

– Что же это значит, Саша? Никого еще нет.

Саша положил брошюрку – да, это была брошюрка в красной обложке! – и как будто совсем равнодушно ответил:

– Они, вероятно, и не придут.

– Вероятно?

– Нет, наверное. Сегодня собрание у Тимохина.

– А почему же не у нас? Я ничего не понимаю... и ты меня даже не предупредил!

И вдруг у нее мелькнула тяжелая и обидная догадка, и сухо она спросила:

– Может быть, впрочем, я вам мешаю? Тогда мне все понятно. Но почему же ты не идешь к Тимохину? Иди, еще не поздно.

– Не огорчайся, мама. И не то, чтобы ты так уже мешала, это пустяки, но они говорят, что у нас слишком уж красиво.

– Нельзя окурки на пол бросать?

И Саша строго, – да, именно строго, – ответил:

– Да. Нельзя окурки на пол бросать.

– Тимохин же все равно бросает на пол!

Саша неприятно улыбнулся и, ничего не ответив, заложил руки в карманы и стал ходить по комнате, то пропадая в тени, то весь выходя на свет; и серая куртка была у него наверху расстегнута, открывая кусочек белой рубашки – вольность, которой раньше он не позволял

себе даже один. Елена Петровна и сама понимала, что говорит глупости, но уж очень ей обидно было за второй самовар; подобралась и, проведя рукой по гладким волосам, спокойно села на Сашин стул.

– Я говорю глупости, – сказала она и даже улыбнулась. – В чем же дело? Объясни мне, Саша!

– Ты не знаешь, я не умею говорить, но приблизительно так они, то есть я думаю. Это твоя красота, – он повел плечом в сторону тех комнат, – она очень хороша, и я очень уважаю в тебе эти стремления; да мне и самому прежде нравилось, но она хороша только пока, до настоящего дела, до настоящей жизни... Понимаешь? Теперь же она неприятна и даже мешает. Мне, конечно, ничего, я привык, а им трудно.

– Красота никогда не может помешать.

– Да, может быть, какая-нибудь другая красота и не мешает, но эта... Я не хочу тебя обидеть, мамочка, но мне все это кажется лишним, – ну вот зачем у меня на столе вот этот нож с необыкновенной ручкой, когда можно разрезать самым простым ножом. И даже удобнее: этот цепляется. Или эта твоя чистота – я уж давно хотел поговорить с тобою, это что-то ужасное, сколько она берет времени! Ты подумай...

Но Елена Петровна даже уж и не удивилась, когда в свою очередь попала и чистота; только смотрела, как краснеет у Саши лицо, и некстати подумала: «А начинают-таки виться волосы, я всегда ждала этого».

– Нет, ты только подумай! Проснувшись, я прежде всего чищу зубы, уже привык, не могу без этого...

– Зато у тебя прекрасные зубы и нет ни одного порченого!

– Когда-нибудь все равно вывалятся! Считай: три, а то и пять минут.

– Да зачем тебе так нужно время?

– Нет, погоди! Потом я занимаюсь гимнастикой – как же, привык! – вот тебе еще пятнадцать – двадцать минут. Потом я обмываюсь холодной водой и докрасна – непременно докрасна! – растираю свое благородное тело. Потом...

И выходило так по его словам, что весь день он только и делает, что чистит себя. Но тут пришла Линочка, и разговор пошел уже втроем, и Линочка тоже на что-то жаловалась, кажется, на свои таланты, которые отнимают у нее много времени.

– Да на что вам время? – все изумлялась Елена Петровна, а те двое говорили свое, а потом пошли вместе пить чай, и был очень веселый вечер втроем, так как Елена Петровна неожиданно для себя уступила красоту, а те ей немного пожертвовали чистотой. И то, что она так легко рассталась с красотой, о которой мечтала, которой служила, которую считала первым законом жизни, было, пожалуй, самое удивительное во весь этот веселый вечер. И в этот же вечер, а может быть, и в другой такой же веселый и легко разрушительный вечер, она позволила Линочке бросить зачем-то уроки рисования, не то музыки... Когда была брошена музыка?

Когда перестали дети ходить в церковь?

Когда было раньше, а когда было позже? Выскакивают дни без связи, а порядок утерян – точно рассыпал кто-то интересную книгу по листам и страничкам, и то с конца читаешь, то с середины. Когда это было, что они с Сашей смотрели, как по базару гонят бородатых запасных и ревут бабы с детьми, и Елена Петровна плакала и куда-то рвалась, а Саша дергал ее за руку и говорил плачущим голосом: мамочка, не надо! Что не надо? Конечно, это было еще до манифеста, а вместе с тем совершенно рядом с этим днем, как продолжение его, выскакивает вечер у того самого угреватого Тимохина, англичанина, жаркая комнатка, окурки на полу и подоконниках, и сама она не то в качестве почетной гостьи, не то татарина. Но одно несомненно, что времени между этими двумя случаями не меньше двух, или даже трех лет, а вспоминается и чувствуется рядом.

Вообще, когда она стала ходить, как девочка, по митингам и собраниям, и ее любезно проводили в первые ряды? Даже в газету раз попала, и репортер придавал ее появлению на митинге очень большое значение, одобрял ее и называл «генеральша Н.». Тогда же по поводу заметки очень смеялись над нею дети.

Однажды звал к себе директор гимназии и заявил, что Саша исключен за какие-то беспорядки, а потом оказалось, что Саша не исключен и оставался в гимназии до самого своего добровольного ухода, – когда это было? Или это не директор звал, а начальница женской гимназии, и речь шла о Линочке, – во всяком случае, и к начальнице она ездила объясняться, это она помнила наверное.

И когда в ихнем городе появились на улицах казаки? И когда произошел первый террористический акт: был убит жандармский ротмистр? Нет, еще раньше был убит городской, а еще, кажется, раньше околоточный надзиратель, и на торжественных похоронах его черная сотня избила на полусмерть двух гимназистов, и Елена Петровна думала, что один из изувеченных – Саша. И когда она начала бояться этой черной сотни – до ужаса, до неистовых ночных кошмаров?

Когда приделан железный засов к двери?

7. Отец

Но вот это, к сожалению, Елена Петровна помнит ясно, знает даже день: четвертое декабря, за шесть месяцев до ухода Саши.

Утром за чаем – они еще пили чай! – Саша прочел в газете фамилию нового губернатора, который только недавно к ним был назначен и уже повесил трех человек, и Елене Петровне вдруг что-то вспомнилось:

– Телепнев... Телепнев... Постой, Саша, я что-то припоминаю. Ну-ка, а как инициалы? П. С.? Ну да: Петр Семенович, папин товарищ! Ты подумай, Сашенька, этот Телепнев, наш губернатор, был лучший папин товарищ, вместе учились...

– Да?

– Да как же! А я и забыла – стареется твоя мать, Саша. Как же это я забыла: ведь друзья были!

Задумчиво, с тем выражением, которое бывает у припоминающих далекое, она смотрит на Сашу, но Саша молчит и читает газету. Обе руки его на газете, и в одной руке папираса, которую он медленными и редкими движениями подносит ко рту, как настоящий взрослый человек, который курит. Но плохо еще умеет он курить: пепла не стряхивает и газету и скатерть около руки засыпал... или задумался и не замечает?

Осторожным движением, чтобы не помешать, Елена Петровна пододвигает пепельницу и, забыв о Телепневе, вдруг поражается тем, что Саша задумался, как поражается всем, что свидетельствует об его особой от нее, самостоятельной, человеческой, взрослой жизни. Иногда это смешит ее самое: вдруг поразится, что Саша читает, или что он, как мужчина, поднял одной рукой тяжелое кресло и переставил, или что он подойдет к плевательнице в углу и плюнет, или что к нему обращаются с отчеством: Александр Николаевич, и он отвечает, нисколько не удивляясь, потому что и сам считает себя Александром Николаевичем.

Александр Николаевич!..

Но теперь к обычному удивлению матери, не могущей привыкнуть к отделению и самостоятельности ее плода, примешивается нечто новое, очень интересное и важное: как будто до сих пор она рассматривала его по частям, а теперь увидела сразу всего: Боже ты мой, да он ли это, – где же прежний Саша?

Этому скоро исполнится девятнадцать лет, он высок, – это видно, даже когда он сидит, – правда, немного худ и юношески узковата грудь, но смуглое лицо крепко и свежо; и в четко и красиво изогнутых губах, твердом подбородке чувствуется сила и даже властность: эка, даже властность! Все так же жутко обведены глаза и даже на газету опущенные смотрят строго, но как это непохоже на прежнюю усталость взгляда, где-то в себе самом черпавшего вечную тревогу! Как будто давно не видала Саши: припоминает Елена Петровна его теперешний взгляд – да, этот смотрит смело и красиво, и разве только чуть-чуть тяжело, когда надолго остановится, забудет перевести глаза.

И как приятно, что нет усов и не скоро будут: так противны мальчишки с усами, вроде того гимназиста, кажется, Кузьмичева, Сашиного товарища, который ростом всего в аршин, а усы как у французского капрала! Пусть бы и всегда не было усов, а только эта жаркая смуглота над губами, чуть-чуть погуще, чем на остальном лице.

«Не надо говорить ему, что он красив», – думает Елена Петровна и поспешно опускает глаза. Недолгое молчание – и точно силою заставляет их вновь подняться холодный и хмурый вопрос:

– А он у нас и в доме бывал?

Елена Петровна уже догадывается о значении вопроса, и сердце у нее падает; но оттого, что сердце пало, строгое лицо становится еще строже и спокойнее, и в темных, почти без

блеска, обведенных византийских глазах появляется выражение гордости. Она спокойно проводит рукой по гладким волосам и говорит коротко, без той бабьей чистосердечной болтливости, с которой только что разговаривала:

– Да, бывал. Он часто бывал у папы.

– И вы были ему рады?

– Генерал любил его. Хочешь еще чаю?

– Спасибо, – говорит Саша и еще раз повторяет: – Спасибо! Ну, а скажи, как ты думаешь, ты хорошо знала генерала... – Губы Саши кривятся в веселую, не к случаю, улыбку. – Ведь наш генерал-то был бы теперь, пожалуй, губернатором и тоже бы вешал... Как ты думаешь, мама?

Прошел длинный, мучительный день, а ночью Елена Петровна пришла в кофточке к Саше, разбудила его и рассказала все о своей жизни с генералом – о первом материнстве своем, о горькой обиде, о слезах своих и муке женского бессильного и гордого одиночества, доселе никем еще не разделенного. При первых же ее серьезных словах Саша быстро сел на постели, послушал еще минуту и решительно и ласково сказал:

– Выйди, мамочка, на минутку, я сейчас оденусь.

И помнит же она эти несколько минут! За дверью, в щель которой вдруг пробилась острая полоска света, – скрипела постель, стукнула уроненная ботинка, звякала чашка умывальника: видно было, что Саша торопливо и быстро одевается; а она, готовясь и ожидая, тихо скользила по темной комнате и беззвучно шептала, заламывая руки:

«Пойми меня, Саша! Пойми меня, Саша!» И все ходила и сама не слышала себя, серая в темноте, бесшумная, плененная, – как насмерть испуганная ночная птица.

– Нет, нет! Бога ради, потуши свечку! – взмолилась она, тихо позванная Сашей; и вначале все путала, плакала, пила воду, расплескивая ее в темноте, а когда Саша опять зажег-таки свечу, Елена Петровна подобралась, пригладила волосы и совсем хорошо, твердо, ничего не пропуская, по порядку рассказала сыну все то, чего он до сих пор не знал. И когда Саша, слушавший очень внимательно, подошел к ней в середине рассказа и горячей рукой несколько раз быстро и решительно провел по гладким, еще черным волосам, она сделала вид, что не понимает этой ласки, для которой еще не наступило время, отстранила руку и, улыбнувшись, спросила: «Что, растрепалась?» И сделала вид, будто сама поправляет не нуждающиеся в этом волосы. Но, кончив рассказ, перед страшным выводом из него: что до сих пор она не простила мужа и не может простить, – запнулась, глотнула воздух и выжидательно, в страхе, замолчала.

Молчал и Саша, обдумывая. Поразил его рассказ матери; и то, что мать, всегда так строго и даже чопорно одетая, была теперь в беленькой, скромной ночной кофточке, придавало рассказу особый смысл и значительность – о самой настоящей жизни шло дело. Провел рукой по волосам, расправляя мысли, и сказал:

– Ну что ж, мамочка: так, так так! И не скажу даже, чтобы все это очень меня удивило, что-то такое я чувствовал уже давно. Да, генерал... Лине, пожалуй, пока не говори, потом как-нибудь расскажешь.

– Хорошо. Саша, Сашенька... Ну, а как же отец?

– Генерал? Генерал умер.

– Не называй его так.

– Это правда. Отец? Отец, да... Ты боишься сказать, что не простила его, не можешь простить?

Елена Петровна утвердительно кивнула головой; и в висках стукнули набегающие слезы.

– Я люблю его.

– А простить – нет?

Елена Петровна мотнула головой: нет! Набегали горячие слезы, и она не мигала, не мешала глазам наливаться, пока не наполнились они; и уже перелилось, потекло по щеке, заще-

котало – и точно просветлела комната, оделась искристым туманом и трогательно заколыхалась. Саша что-то говорил, мелькал в тумане.

Плохо доходили до сознания слова, да и не нужны они были: другого искало измученное сердце – того, что в голосе, а не в словах, в поцелуе, а не в решениях и выводах. И, придавая слову «поцелуй» огромное во всю жизнь значение, смысл и страшный и искупительный, она спросила твердым, как ей казалось, голосом, таким, как нужно:

– Можно поцеловать тебя, Сашенька?

И в ожидании, полном страха, закрыла мокрые от слез глаза. Что было потом?

То, о чем надо всегда плакать, вспоминая. Царь, награждающий царствами и думающий, что он только улыбнулся; блаженное существо, светлейший властелин, думающий, что он только поцеловал, а вместо того дающий бессмертную радость, – о, глупый Саша! Каждый день готова я терпеть муки рождения, чтобы только видеть, как ты вот ходишь и говоришь что-то невыносимо-серьезное, а я не слушаю! Не слушаю!

– Говори, говори, Сашечка!

– Да ты не слушаешь, мама? Я тебя спрашиваю, а ты...

– Говори, говори, Сашечка!

Ну и пусть довел до комнаты, как пьяную: да и пьяна же я материнской радостью моею! Вот еще чего не знала о той ночи Елена Петровна.

Когда мать уснула, Саша вернулся в комнату и разделся, чтобы спать, но не мог забыться даже на минуту и все курил и думал. Ему казалось, что он теперь разгадал что-то в своей судьбе, но он никак не мог точно и ясно определить угаданное и только твердил: «Ну, конечно, ну, конечно, так! Теперь все ясно». И образ покойного отца, точно с умыслом во всей неприкосновенности сбереженный памятью до этого дня, впервые предстал его сознанию и поразил его своею как бы чуждостью, а вместе чем-то и своим. Увидел ясно в каждом волоске его четырехугольную широкую бороду и плешину среди русых и мягких волос, крутые, туго обтянутые плечи; почувствовал жесткое прикосновение погона, не то ласковое, не то угрожающее – и вдруг только теперь осознал ту тяжесть, что, начинаясь от детства, всю жизнь давила его мысли.

Да, это он, отец – этот важный, порою ласковый, порою холодно-угрюмый, мрачно-свирепый человек, занимающий так много места на земле, называемый «генерал Погодин» и имеющий высокую грудь, всю в орденах. И такие же высокие в орденах груди у его друзей или подчиненных: кланяются, звякая шпорами, блестят золотом шитья, точно поднимают потолки в комнатах и раздвигают стены, – в мрачном великолепии и важности застыла холодная пустота. Гулки, как во сне, шаги отца: за много комнат слышно, как он идет, приближается, грузно давит скользкий, сухо поскрипывающий паркет; далеко слышен и голос его – громкий без натуги, сипловатый от водки, бухающий бас: будто не слова, а кирпичи роняет на землю. Это отец, да.

А у денщика Тимошки рожа испитая и часто в синяках; и такие же рожи у других, постоянно меняющихся денщиков – почему рожи, а не лица? Нет, это нельзя назвать лицом, и это не слезы – то, что с любовью и странным удовольствием размазывает Тимошка по скуластым щекам своим. И память ли обманывает, или так это и было: однажды сам Саша своим тогдашним маленьким кулаком ударил Тимошку по лицу, и что-то страшно любопытное, теперь забытое, было в этом ударе и ожидании: что будет потом? А старый облезлый кот, повешенный денщиками за сараем? А лошадь, которая боится отца, и косит на него глазом, и широко расставляет ноги, как раздавленная, когда отец, пошатнув ее, становится в стремя, а потом грузно опускается в седло? Сильна мать, что так долго боролась с отцом и победила его, но почему же и она и дети замолкают, когда издалека послышатся гулкие приближающиеся шаги и вдруг, точно от предчувствия идущей тяжести, тихонько скрипнет паркет в этой комнате? И этот жест Елены Петровны: торопливое и ненужное приглаживание волос, начался как раз оттуда, от этих минут ожидания, когда уже заранее поскрипывал паркет.

И она сказала, что любит его – не прощает и любит. И это возможно? И как, какими словами назвать то чувство к отцу, которое сейчас испытывает сын его, Саша Погодин, – любовь? – ненависть и гнев? – запоздалая жажда мести и восстания и кровавого бунта? Ах, если бы теперь встретиться с ним... не может ли Телепнев заменить его, ведь они друзьями были!

Однажды на смотру, на каком-то маленьком, не особенно важном смотре был и Саша с матерью, и генерал, бывший на лошади, посадил Сашу к себе. И когда оторвался он от земли чьими-то руками, а потом увидел перед самыми глазами толстую, вздрагивающую, подвижную шею лошади, а позади себя почувствовал знакомую тяжесть, услышал хриплое дыхание, поскрипывание ремней и твердого сукна – ему стало так страшно обоих, и отца и лошади, что он закричал и забился. И чем крепче сжимала его рука невидимого человека, тем сильнее он бился, и кто-то снял его. На земле он сразу перестал плакать и увидел выпуклые, серые, орлиные, теперь яростные глаза отца, который, низко свесившись с лошади, кричал на него:

– Трус-мальчишка! Дрянь! Стыдно! Трус-мальчишка!

А тяжелая, как отец, страшная лошадь топталась обросшими волосатыми ногами, косила глазом и тоже фыркала: трус-мальчишка, трус!

«Это ему было стыдно за меня перед солдатами! – думал Саша, стискивая зубы. – Нет, ваше превосходительство, я не трус, я нечто другое, ваше превосходительство, и вы это узнаете! Ваша кровь в моих жилах, и рука моя, пожалуй, не менее тяжела, чем ваша, и вы узнаете... Впрочем, спокойной ночи, ваше превосходительство!»

Потом Саша думал, уже засыпая:

«Можно отречься от отца? Глупо: кто же я тогда буду, если отрекусь! – ведь я же русский. А в гимназию-то я не пошел, хоть и русский. Вообще русским свойственно... что свойственно русским? Ах, Боже мой – да что же русским свойственно? Встаньте, Погодин!»

И, уже совсем засыпая, Саша увидел призрачно и смутно: как он, Саша, отрекается от отца. Много народу в церкви, нарочно собрались, и священник в черных великопостных одеждах, и Саша стоит на коленях и говорит: «...Не лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя...» Хор запел: – Аминь!

И так страшен был его рев, что Саша очнулся и увидел, что за окнами уже светло, а во рту у него потухшая папироса. Вынул папиросу и крепко, без сновидений, уснул.

8. Бесталанные

Это было в марте, в воскресенье.

Был уже двенадцатый час, когда некто Колесников подходил к дому, где жили Погодины. «Ну и улица!» – думал он, прыгая из одного сухого протоптанного гнезда в другое и подолгу отыскивая камни, брошенные добрыми людьми для перехода и неуловимо темневшие среди нестерпимого блеска воды, жидкой грязи и островков искристого снега. Шел он против солнца, и каждая лужица, каждая налитая колея горела, как окающая. «Ну и дом!» – подумал он огорченно, когда в отворенную калитку вместо двора увидел целое озеро весенней воды; и в этом озере, как в настоящем, отражались деревья, белый низенький домик и крыльцо. На крыльце стояла барышня, глядела на Колесникова и тоже отражалась в воде. «Вот и барышня стоит и смотрит – как неловко! А Погодина-то, может быть, и дома нет, ну да уж все равно пропадать».

– Что же вы стоите? – крикнула барышня. – Вы к Саше? Идите налево около забора, там дорожка. Да левее же, еще, да еще же!

Покорно забирая влево, Колесников увидел, что на крыльцо вышла худая, красивая, немолодая барыня и тоже смотрит на него, и так было неловко от одной барышни, а тут еще и эта. Но все-таки дошел и даже поклонился, а то все боялся, что забудет.

– Погодин, гимназист, здесь живет?

– Здесь, я его мать. Вы к Саше по делу? Он сейчас только встал, пьет чай.

– Нет, почему же по делу? Я его знакомый, Колесников.

– Знакомый? Очень рада. Пожалуйста!

Слова были любезные, а в голосе открыто звучало недоверие и тревога, и глаза слишком разглядывали. «Ну что ж я поделаю, – покорно подумал Колесников, уже привыкший слышать эту тревогу в голосе всех матерей, – я ничего поделать не могу: тревожишься, ну и тревожись». А Елена Петровна рассматривала его и думала: «Вот и еще знакомый!.. Разве такие знакомые бывают. И калоши текут, и борода, как у разбойника, только детей пугать; а если его обрить, то, пожалуй, и добряк, – только он сам никогда об этом не догадается. Ох, Господи, все они добряки, а мне от этого не легче!»

– Мама! – сказала Линочка, знавшая мысли матери и не одобрявшая их. – Надо же показать, куда идти. Сюда идите... Саша, к тебе знакомый.

Но и Саша как будто удивился при виде черной бороды, желтых скул и шершавой вихрастой головы, и даже слегка нахмурился: заметно было, что видит он Колесникова чуть ли не в первый раз. Однако было в круглых, черных, также как будто удивленных глазах посетителя что-то примиряющее с ним, давно и хорошо знакомое: только взглянул, а словно всю жизнь свою рассказал и ждет вечной дружбы.

– У вас тут, того-этого, совсем Венеция, – сказал Колесников глухим басом и, поискав лица, с улыбкой остановил круглые глаза на Линочке, – только гондолы-то у меня текут, вон как, того-этого, наследил!

Линочка с упреком взглянула на мать: видишь, какой он! – и ответила:

– Мы с Сашей, когда были маленькие, каждую весну плавали ко двору на плотках.

– Пойдемте ко мне, – сказал Саша, вставая.

Елена Петровна с жалостью к Саше взглянула на недоеденный хлеб и сурово промолвила:

– Ты лучше, Саша, чай бы допил. Я и гостю налью.

– Нет, не хочу. Или дай к нам в комнату два стакана.

После столовой в комнате у Саши можно было ослепнуть от солнца. На столе прозрачно светлела хрустальная чернильница и бросала на стену два радужных зайчика; и удивительно было, что свет так силен, а в комнате тихо, и за окном тихо, и голые ветви висят неподвижно. Колесников заморгал и сказал с какой-то особой, ему понятной значительностью:

– Весна!

Саша спокойно молчал; и молча передвинул в тень чернильницу, и зайчики погасли.

– Ваша мама меня боится, а сестра нет, – сказал Колесников и снова со вздохом повторил, – весна!

– Мы с вами где-нибудь встречались? Я что-то плохо помню.

– Как же, разок встретились. Только там, того-этого, были другие не знакомые вам люди, и вы меня не заприметили. А я заприметил хорошо. Жалко вот, что мамаша ваша меня боится, да чего ж поделаешь! Теперь не такое время, чтобы разбирать.

Саша слегка покраснел:

– Где же это было? Я не помню.

– Там! – ответил Колесников, придвигая стакан чаю. – Вы, того-этого, предложили убить нашего Телепнева, а наши-то взяли и отказались. Я тогда же из комитета и вышел: «Ну вас, говорю, к черту, дураки! Как же так не разобрать, какой человек может, говорю, а какой не может?» Только они это ввали, они просто струсили.

Лицо Саши потемнело:

– Мне неприятно об этом вспоминать. Но я очень рад, что вы ко мне пришли, теперь я вас помню. Пейте, пожалуйста, чай.

– Меня зовут Василий Васильевич, – сказал Колесников, – я уж два раза, если вам интересно, из ссылки бегал. Только вот беда, того-этого, не оратор я, и талантов у меня нет никаких.

– У меня тоже нет талантов, – сказал Саша и впервые с улыбкой поднял на Колесникова свои жуткие, но теперь улыбающиеся глаза.

И как с первого раза знакомился своими глазами Колесников, так своими с первого раза и навсегда убеждал Погодин; так и теперь сразу и навсегда убедил он только что пришедшего в чем-то радостном и необыкновенно важном. Заерзав на стуле, Колесников в широкой улыбке открыл черные, но крепкие зубы и пробасил:

– Вот удивили вы меня! А чьи ж это картинки на стене? Неужто не ваши?

– Нет, сестры.

– Сестры? Молодец сестра!

Но сразу же нахмурился и с искренним огорчением произнес:

– Экое горе, того-этого, какие мы с вами бесталанные! Только вы, я думаю, ошибаетесь, нельзя этого допустить, чтобы у вас не было таланта. Может, не обнаружился еще? Это часто бывает с молодыми людьми. Таланты-то ведь бывают разные, того-этого, не только что карандашиком или пером водить.

– Никакого. Я и говорить не умею.

– Вот удивляете вы меня! Но погодите, еще откроется! Да, того-этого, еще откроется!

Колесников вдруг заволновался и заходил по комнате; и так как ноги у него были длинные, а комната маленькая, то мог он делать всего четыре шага. Но это не смущало его, видимо, привык человек вертеться в маленьком помещении.

– Боже ты мой! – гудел он взволнованно и мрачно, подавляя Сашу и несуразной фигурой своей, истово шагающей на четырех шагах, и выражением какого-то доподлинного давнишнего горя. – Боже ты мой, да как же могу я этому поверить! Что не рисует да языком не треплет, так у него и талантов нет. Того-этого, – вздор, милостивый государь, преподлейший вздор! Талант у него в каждой черте выражен, даже смотреть больно, а он: «Нет, это сестра! Нет, мамаша!» Ну и мамаша, ну и сестра, ну и вздор, преподлейший вздор!

Саше уже тяжело становилось, когда Колесников внезапно стих, сделал еще два оборота по комнате и сел, сказав совершенно спокойно:

– Чай-то уж остыл. И ни разу это у меня не бывало, чтобы я попал на настоящий чай: то горяч, а то уж и остыл.

– Давайте стакан, я принесу горячего.

– Чего там, и этот хорош, это я так, к слову. Вот что, товарищ, денек-то сегодня славный! Пойдемте за кирпичные сараи пострелять из браунинга. Я и браунинг принес.

– У меня свой есть, – сказал Саша и вынул из стола никелированный, чистенький, уже заряженный револьвер.

У Колесникова браунинг оказался черный, и оба долго и с интересом разглядывали оружие, и Колесников вздохнул.

– Да! – сказал он со вздохом, – времена крутые. У меня знакомая одна была, хорошо из браунинга стреляла, да не в прок ей пошло. Лучше б никогда и в руки не брала.

– Повешена?

– Нет, так. Зарубили. Ну, того-этого, идем, Погодин. Вы небось по голосу думаете, что я петь умею? И петь я не умею, хотя в молодости дурак один меня учил, думал, дурак, что сокровище открыл! В хоре-то, пожалуй, подтягивать могу, да в хоре и лягушка поет.

Овраги и овражки были полны водою, и до кирпичных сараев едва добрались; и особенно трудно было Колесникову: он раза два терял калоши, промочил ноги, и его серые, не новые брюки до самых колен темнели от воды и грязи.

– Славные у вас сапоги! – сказал он Саше и сам себя спросил: – Отчего я и себе, того-этого, таких не куплю? Не знаю.

Простором и тишиною встретило их поле; весенним теплом дымилась голубая даль, воздушно млели в млечной синеве далекие леса. В безветрии начавшийся, крепко стоял погожий день, обещая ясный вечер и звездную, с морозцем, ночь. Было так празднично все, что и стрельба из револьверов казалась праздничной, веселой забавой, невинным удовольствием. Для цели Саша выломал в гнилой крыше заброшенного сарая неширокую, уже высохшую доску и налепил кусочек белой бумаги; и сперва стреляли на двадцать пять шагов. Из трех пуль Колесников всадил две, одну возле самой бумажки, и был очень доволен.

– Не всякий может, – сказал он внушительно; и, расставив длинные ноги и раскрыв от удовольствия рот, критически уставился на Сашу. И с легким опасением заметил, что тот немного побледнел и как-то медленно переложил револьвер из левой руки в правую: точно лип к руке холодный и тяжелый, сверкнувший под солнцем браунинг: «Волнуется юноша, – думает, что в Телепнева стреляет. Но руку держит хорошо».

Однако все три пули всадил побледневший Саша, и две из них в самый центр. Колесников загудел от удовольствия, а он, все еще бледный, но, видимо, чрезвычайно довольный, переложил липнувший револьвер в левую руку и сказал:

– Да, я хорошо стреляю. Попробуем на сорок шагов?

– Попробуйте вы. Я, того-этого, и патронов тратить не хочу.

Все же, когда цель перенесли, сделал один выстрел и промазал, а Саша и в этот раз попал – две пули, одна возле другой.

– И это не талант? – воодушевился Колесников, – подите вы, Погодин, к черту! Да с этим талантом, того-этого, целый роман написать можно.

– А они вот отказались, – сухо промолвил Саша, намекая на комитет. – Посидим, Василий Васильевич, здесь очень хорошо!

Выбрали сухое местечко, желтую прошлогоднюю траву, разостлали пальто и сели; и долго сидели молча, парясь на солнце, лаская глазами тихую даль, слушая звон невидимых ручьев. Саша курил.

– Ручьи текут, а мне, того-этого, кажется, будто это слезы народные, – сказал Колесников наставительно и вздохнул.

И Саше, ждавшему ответа относительно Телепнева, не понравились и наставительность эта, и напыщенность фразы, и самый вздох. Молчал и, уже скучая, ждал, что скажет дальше. Вдруг Колесников засмеялся:

– Смотрю на вас, Александр Николаевич, и все удивляюсь, какой вы, того-этого, корректный! Не знай я вас так хорошо, так хоть домой иди, ей-Богу!

– А откуда ж вы меня так хорошо знаете?

– Не знал бы, так и не пришел бы, – уже серьезно сказал Колесников. – Но вот что вы мне скажите: почему вы избрали Телепнева? Не такая уж он птица, чтобы из-за него вешаться. Так и у нас говорили... в вас-то они не очень уж сомневались.

Саша вдруг смутился.

– Телепнева? – нерешительно переспросил он. – Я думаю, основания ясны. Впрочем... у меня были и свои соображения. Да, свои соображения, личные...

И, уже забыв о Колесникове, он сразу всей мыслью отдался тому странному, тяжелому и, казалось, совсем ненужному, что давило его последние месяцы: размышлению об отце-генерале. Тогда, после разговора с матерью, он порешил, что именно теперь, узнав все, он по-настоящему похоронил отца; и так оно и было в первые дни. Но прошло еще время, и вдруг оказалось, что уже давно и крепко и до нестерпимости властно его душою владеет покойный отец, и чем дальше, тем крепче; и то, что казалось смертью, явилось душе и памяти, как чудесное воскресение, начало новой таинственной жизни. Все забытое – вспомнилось; все разбросанное по закоулкам памяти, рассеянное в годах – собралось в единый образ, подавляющий громадностью и важностью своею. И теперь, в смутном сквозь грезу видении обнаженного поля, в волнистости озаренных холмов, вблизи таких простых и ясных, а дальше к горизонту смыкавшихся в вечную неразгаданность дали, в млечной синеве поджидающего леса, – ему почудились знакомые теперь и властные черты. И как было все это время: острая, как нож, ненависть столкнулась с чем-то невыносимо похожим на любовь, вспыхнул свет сокровеннейшего понимания, загорелись и побежали вдаль кроваво-праздничные огни. Вдруг, не поднимая глаз, Саша спросил Колесникова:

– Вы русский?

Колесников, разглядывавший Сашу с таким вниманием, что оно было бы оскорбительно, замечая его Саша, не сразу ответил:

– Русский. Не в этом важность, того-этого.

– У меня мать гречанка.

– Что ж!.. И это хорошо.

– Почему хорошо?

– Хорошая кровь. Кровь, того-этого, многих мучеников.

Саша ласково взглянул в его черные глаза и подумал:

«Вот же чудак, при таком лице носит велосипедную фуражку. Но милый». Вслух же сказал:

– Байрон умер за свободу греков.

– Ну и вздор! Кто, того-этого, нуждается в свободе, тому незачем ходить в чужие края. И где это, скажите, так много своей свободы, что уж больше не надо? И вообще, того-этого, мне совсем не нравится, что вы сказали про Телепнева, про какие-то личные ваши соображения. Личные! – преподлейший вздор.

Колесников взволнованно заходил и, хотя места было много, по-прежнему кружился на своих четырех шагах; и при каждом шаге громко, видимо, раздражая его, хлюпали калоши.

– Вот я, видите? – гудел он в высоте, как телеграфный столб. – Весь тут. Никто меня, того-этого, не обидел, и жены моей не обидел – нет же у меня жены! И невесты не обидел, и нет у меня ничего личного. У меня на руке, вот на этой, того-этого, кровь есть, так мог бы я ее пролить, имей я личное? Вздор! От одной совести сдох бы, того-этого, от одних угрызений.

Быстро подошел к Саше и, наклонившись, с высоты, сердито замахал на него пальцем:

– Эй, юноша, того-этого, не баламуть! Раз имеешь личное, то живи по закону, а недоволен, так жди нового! Убийство, скажу тебе по опыту, дело страшное, и только тот имеет на

него право, у кого нет личного. Только тот, того-этого, и выдержать его может. Ежели ты не чист, как агнец, так отступись, юноша! По человечеству, того-этого, прошу!

Уже иступленное что-то загоралось в его остановившихся глазах; и вдруг Колесников закричал полным голосом, как в бреду:

– Хочешь, на колени стану? Хочешь, мальчишка, на колени стану? Отступись!

– Нет! – сказал Саша, быстро вставая и рукой отстранив Колесникова, бледный и строгий. – Вы напрасно кричите, вы меня не поняли. У меня не было и нет личного ничего. Слышите вы, ничего!

Колесников угрюмо извинился:

– Извините, Погодин. Такие времена, что, того и гляди, в сумасшедший дом попадешь, того-этого.

Но уже через десять минут, когда они возвращались домой, Колесников весело шутил по поводу своих гондол; и слово за словом, среди шуток и скачков через лужи, рассказал свою мытарственную жизнь в ее «паспортной части», как он выражался. По образованию ветеринар, был он и статистиком, служил на железной дороге, полгода редактировал какой-то журнальчик, за который издатель и до сих пор сидит в тюрьме. И теперь он служит в местном железнодорожном управлении.

– А кто был ваш отец? – спросил Саша.

– Отец-то? Вопрос не легкий. Род наш, Колесниковых, знаменитый и древний, по одной дороге с Рюриком идет, и в гербе у нас колесо и лапоть, того-этого. Но, по историческому недоразумению, дедушка с бабушкой наши были крепостными, а отец в городе лавку и трактир открыл, блеск рода, того-этого, восстанавливает. И герб у нас теперь такой: на зеленом бильярдном поле наклоненная бутылка с девизом: «Свидания друзей»...

– Он жив?

– Опасаюсь. И ежели не сдох, так в союзе председателем, – человек он честолюбивый и глубокомысленный. Он меня, того-этого, потому и в ветеринары отдал, что скота всегда лучше чувствовал, нежели человека. Ну, и братья у меня – тоже, того-этого, сволочь удивительная!

– Зачем вы так говорите! – поежился Саша.

– А что – густо? Из песни, того-этого, слова не выкинешь. Да они ж меня давно и похоронили: по некоему приговору, к счастью для моей шеи – не совершившемуся, меня давно уж повесили, – добродушно заключил Колесников.

Сбивал он Сашу своими переходами от волнения к покою, от грубости, даже как будто цинизма, к мягкому добродушию, чуть ли не ребячьей наивности; и – что редко бывало с внимательным Сашей – не мог он твердо определить свое отношение к новому знакомцу: то чуть ли не противен, а то нравится, вызывает в сердце что-то теплое, пожалуй, немного грустное, напоминает кого-то милого. Трогало и то, что после своей странной, почти болезненной вспышки Колесников смирился и не только как равный с равным говорил с Сашей, хотя на целых двадцать лет был старше, но даже как будто преклонялся, каждое слово слушал с необыкновенным вниманием и чуть ли не с почтительностью.

Проводил он Сашу до самого дома и уже у калитки – точно именно у порога дома, когда люди расстаются и уходят к своим мыслям, и нужно было бросить этот мостик – посмотрел Саше в глаза и спросил:

– Газету читали?

– Нет, не успел.

– Шестнадцать повешено. Ну, до свиданья, Погодин. А стреляете-то вы чудесно, мне от вашего таланта, того-этого, даже жутко стало; не наследственное это у вас?

Саша опять было нахмурился, но увидел открытые, наивные глаза, с любопытством глядевшие на него, и засмеялся:

– Нет, не думаю. Я мало что наследовал от отца. Впрочем... я его не помню, он умер восемь лет назад. Прощайте.

Так состоялось их знакомство. И, глядя вслед удалявшемуся Колесникову, менее всего думал и ожидал Саша, что вот этот чужой человек, озабоченно попрыгивающий через лужи, вытеснит из его жизни и сестру и мать, и самого его поставит на грань нечеловеческого ужаса. И, глядя на тихое весеннее небо, голубевшее в лужах и стеклах домов, менее всего думал он о судьбе, приходившей к нему, и о том, что будущей весны ему уж не видать.

9. Весна

Во весь этот день Саша был чрезвычайно весел; после обеда взял газету, уже прочитанную домашними, но взглянул на заголовок, поймал глазами слово «шестнадцать»... и отложил в сторону: не надо почему-то читать, не следует. А вечером, когда высыпали звезды и зазвенел под ногами ледок, взял Линочку под руку и пошел на Банную гору, откуда днем открывался широкий вид на разлившуюся реку. И дорогой ломал такого дурака, что Линочка хохотала, как от щекотки: представлял, как ходит разбитый параличом генерал, делал вид, что Линочка – барышня, любящая танцы, а он – ее безумный поклонник, прижимал руки к сердцу и говорил высокопарные глупости. Брат и сестра, они невинно и смешно играли в любовь, не подозревая в себе актеров, которые шутя готовятся к завтрашнему трагическому спектаклю, не зная, сколько правды в их веселой игре.

Совсем развеселился Саша: изображая крайности безумного, не помнящего себя влюбленного, он раскачивал ее по всей панели, и уже раза два на них оглянулись прохожие, не то с улыбкой, не то сердито; и Линочка захлебывалась бессильным смехом:

– Да родной же мой Сашечка! Ой, не могу!.. Ой, колики!

– А-а-а, толстая! – рычал он от зверской любви. – Полюбишь ты меня или нет? Сознаться, пресловутая!

– Сашка, оставь... ой, упаду!

И кончилось тем, что столкнул ее в незамерзшую лужу, и Линочка промочила правую ногу и минуты на две серьезно рассердилась. Но тотчас же и отошла, вскинула глаза к звездам и сказала:

– Держи меня крепче, Саша: я так буду идти.

Казалось, что бледные звезды плывут ей навстречу, и воздух, которым она дышит глубоко, идет к ней из тех синих, прозрачно-тающих глубин, где бесконечность переходит в сияющий праздник бессмертия; и уже начинала кружиться голова. Линочка опустила голову, скользнув глазами по желтому уличному фонарю, ласково покосилась на Сашу и со вздохом промолвила:

– Ах, Сашечка, если б ты всегда был такой!

– А что? Ухаживателей не хватает?

Линочка кротко ответила:

– Ты говоришь глупости. Про тебя вчера Женя Эгмонт опять спрашивала.

Саша в темноте покраснел и сердито сказал:

– Я уже просил тебя про Эгмонт мне не передавать.

– Я знаю. Я и говорю: если бы ты всегда был такой, как сегодня. Тебе скоро девятнадцать лет, Сашенька.

– Это мамины слова?

– А если и мамины? – упрямо сказала сестра. – Мама знает, что говорит.

– Ну и я знаю! Вот что, Лина: бросим-ка это, я не хочу сегодня ссориться.

Как-то так случилось, что за последнее время они несколько раз серьезно поссорились, и каждый раз настоящая причина оставалась неизвестна, хотя начинался разговор с Сашиного характера: с упреков, что в чем-то он изменился, стал не такой, как прежде. А он ясно сознавал, что перемена не в нем, а именно в Линочке, которую потянуло в сторону от прежнего пути. Какие-то разговоры о пустяках; с месяц назад Линочка вдруг яростно схватила за рисование, которое давно бросила, и все жаловалась, даже плакала, что отвыкшая рука не слушается ее. И не с одной Линочкой он начал ссориться: то же было и в гимназии, и так же неясна оставалась настоящая причина, – по виду все было, как и прежде, а уже веяло чем-то раздражающим, и в разговорах незаметно воцарялся пустяк. Еще только вчера, в субботу, Громан рассказал

на перемене скверный анекдот, и все смеялись; правда, что потом Громана жестоко изругали, и он, жидкий немец, чуть ли не в слезах дал клятву, что пошлостей рассказывать не будет, но факт остался: в первую минуту смеялись. «Разорвусь, а аттестат получу! – подумал Саша, вдруг снова очаровываясь ночью и весной, – там в университете будет по-другому».

На Банной горе, как и днем, толпился праздничный народ, хотя в темноте только и видно было, что спокойные огоньки на противоположной слободской стороне; внизу, под горой, горели фонари, и уже растапливалась на понедельник баня: то ли пар, то ли белый дым светился над фонарями и пропадал в темноте. В толпе заволновались: пробежал первый в году маленький, неизвестно чей катер, показал красный огонь, потом зеленый, и бесшумно скатился в темень реки – маленький, неизвестно чей, такой бодрый и веселый в своем бесцельном ночном скитании. На горке закричали:

– Пароход! Пароход!

По женскому смеху и бубнящему голосу Тимохина разыскали свою компанию, гимназистов и гимназисток, заседавших на скамейке и на перилах, за которыми темнел крутой обрыв и точно падали в реку голые еще деревья.

– Свалишься, Тимохин, слезь! – уговаривал кто-то, а Тимохин, видимо, хмельной, самостоятельно бубнил:

– Оставь! Я, брат, в равновесии собаку съел. Хочешь, по гипотенузе пройду?

Вот и это: стал запивать честный, молчаливый, когда-то застенчивый, угреватый Тимохин, приобрел развязность и склонность к шутловству: над ним смеются, а он доволен и усиленно выставляется. «Эх, напрасно я сюда пошел!» – подумал Саша и снова покраснел: ему многозначительно жала руку молчаливая, сдержанная, тревожная в своем молчании и красоте Женя Эгмонт.

К гимназисткам, подругам Линочки, и ко всем женщинам Саша относился с невыносимой почтительностью, замораживавшей самых смелых и болтливых: язык не поворачивался, когда он низко кланялся или торжественно предлагал руку и смотрел так, будто сейчас он начнет служить обедню или заговорит стихами; и хотя почти каждый вечер он провожал домой то одну, то другую, но так и не нашел до сих пор, о чем можно с ними говорить так, чтобы не оскорбить, как-нибудь не нарушить неловким словом того чудесного, зачарованного сна, в котором живут они. Так, бывало, и молчат всю дорогу и торжественно шагают; и разве только почтительно предупредит:

– Осторожнее, пожалуйста: здесь выворочены камни!

Мучением была эта дорога; и особенно трудно доставалась Женя Эгмонт, задумчивая Женя Эгмонт, прекрасная Женя Эгмонт, стройная и певучая, как нильская тростинка. После первого же раза, когда они промолчали всю дорогу, Саша решительно сказал сестре:

– Если хочешь, чтобы я ее провожал, ходи вместе с нами.

Линочка попылила, но согласилась на условие, и так втроем они и ходили: Линочка болтала, а те двое торжественно шествовали под руку и молчали, как убитые; а что Женя Эгмонт временами как будто прижимала руку, то это могло и казаться, – так легко было прикосновение твердой и теплой сквозь кофточку руки. Но каждый раз сердце у Саши выпадало из груди и ноги совсем переставали чувствовать мостовую: попадись по дороге камень, Саша упал бы. И в жутком чувстве забвения он плыл по воздуху, по воздуху же неся твердую и теплую сквозь кофточку руку.

Поздоровавшись, Женя Эгмонт спросила:

– Сейчас прошел пароходик. Вы видели?

– Да, видел, – ответил Саша и вдруг поднялся на воздух.

Робко вскинул он свои жуткие глаза обреченного, и навстречу ему из-под полей шляпы робко метнулось что-то черное, светлое, родное, необыкновенное, прекрасное – глаза, должно

быть? И уже сквозь эти необыкновенные глаза увидел он весеннюю ночь – и поразился до тихой молитвы в сердце ее чудесной красотой. Но подошел пьяный Тимохин и отвел его в сторону:

– На два слова, Саша. Саша, товарищ!.. Не осуждай меня за пьянство. Они не понимают, а ты все можешь понять и простить, Саша!

Отвел еще на два шага и таинственно забурчал, дыша водкой в самое лицо:

– Слушай: все силы революции разбиты. Это я только тебе по секрету: все силы революции разбиты.

– Брось пить, противно.

– Саша! ты чистый, ты этого не поймешь. Читал сегодня газету?.. Ну то-то, тсс! Молчи! Ты веришь Добровольскому, я знаю, – не верь, Саша. Клянусь! Все они подлецы, я их тонко постиг и взвесил. Послушай меня, Саша, товарищ: иди в монастырь, как Офелия, а я знаю свою дорогу.

Надо было тут же уйти, но Саша остался; и нарочно сел так, чтобы не могла подойти Женя Эгмонт. Слушал вполслуха разговор, раза три уловил слово «порнография», звучавшее еще молодо и свежо. Остановил внимание громкий голос Добровольского:

– Нет, вы скажите, почему у русской революции только и есть похоронный марш? Поэтов у нас столько, что не перевешать, и все первоклассные, а ни одна скотина не догадалась сочинить свою русскую марсельезу! Почему мы должны довольствоваться объедками со стола Европы или тянуть свою безграмотную панихиду?

Из темноты предостерегающе пробубнил Тимохин:

– Саша! Слышишь? Еще сапог не износила, в которых шла за гробом мужа вся в слезах, как Ниобея...

– Башмаков, Тимоша, а не сапог.

– Сам ты, Тимоша, сапог!

– Ну-ка, Тимоша: быть или не быть!

– Слышишь, Саша?

Но смех смолк. От реки потянуло холодом, и несколько минут все сидели молча. На въезде около бань кто-то невидимый тушил фонари, из трех оставляя гореть один; зачернели провалы. Женский голос спросил:

– Читали газеты?

– Да. Шестнадцать.

После короткого молчания кто-то сказал молодым басом, как бы заканчивая цепь размышлений:

– Да, ребята, придется нам сесть за учебу!

Некоторые засмеялись, Тимохин снова трагически пробубнил: «Слышишь, Саша?» – и кто-то назвал его за это Кассандрой и начался какой-то спор, – но Саша уже быстро шел по обезлюдевшей горке, накидывая шаг, словно за ним гнались, и с каждой минутой одиночества чувствуя себя все лучше. И опять что-то чудесное померещилось в весенней ночи, и глаза потянуло к звездам, как давеча у Линочки; но вспомнился Колесников, и радость тихо погасла, а шаги стали медленнее и тяжелее. «Надо будет о нем разузнать, – подумал Саша и прибавил: – Нет, ни ему и никому другому в мире про Женю Эгмонт я не расскажу».

Елена Петровна удивилась, что Саша вернулся один, и ее иконописные глаза вечной матери с тревогой устремились на сына:

– А Лина? Уж не поссорились ли вы опять?

– Да нет, мама, – улыбнулся Саша и нежно поцеловал еще черную голову матери. – Ее проводят, не беспокойся. Почему ты не допускаешь, что мне захотелось побыть с тобой вдвоем? Ведь мы же влюбленные!

Темное лицо Елены Петровны осветилось:

– Правда?

– Да. Дай чаю, мамочка.

Уже от порога она, обернувшись, спросила:

– Этот, ну, Колесников – ничего плохого не сказал тебе?

– Только хорошее. Он чудак.

Линочка долго не возвращалась, и после чая Саша попросил мать сыграть ему «тренди-бренди». Краснея и все чему-то не веря, она села за рояль и сперва стеснялась, что у нее тугие и непослушные пальцы, но уже вскоре, к своему удивлению, вся целиком отдалась наивной трогательности звуков. Нет имени у того чувства, с каким поет мать колыбельную песню – легче ее молитву передать словами: сквозь самое сердце протянулись струны, и звучит оно, как драгоценнейший инструмент, благословляет крепко, целует нежно. Раз через плечо бросила взгляд на Сашу и увидела: сидит, опустив голову на ладони рук, и слушает и думает – родной сын Саша.

Когда прощались, Саша поднял на мать глаза и спросил:

– Мама! Неужели у тебя нет ни одного портрета отца? Подумай: я ни разу не видал его.

Елена Петровна молча посмотрела на него. Молча пошла к себе в комнату – и молча подала большой фотографический портрет: туго и немо, как изваянный, смотрел с карточки человек, называемый «генерал Погодин» и отец. Как утюгом, загладил ретушер морщины на лице, и оттого на плоскости еще выпуклее и тупее казались властные глаза, а на квадратной груди, обрезанной погонами, рядами лежали ордена.

10. Колесников

На другой день Саша навел справки о Колесникове, и вот что узнал он: Колесников действительно был членом комитета и боевой организации, но с месяц назад вышел из партии по каким-то очень неясным причинам, до сих пор не разьясненным. Одни говорили, что виноват Колесников, уже давно начавший склоняться к большим крайностям, и партия сама предложила ему выйти; другие обвиняли партию в бездеятельности и дрызгах, о Колесникове же говорили, как о человеке огромной энергии, имеющем боевое прошлое и действительно приговоренном к смертной казни за убийство Н-ского губернатора: Колесникову удалось бежать из самого здания суда, и в свое время это отчаянно-смелое бегство вызвало разговоры по всей России. Рассказывали также, что Колесников – участник того знаменитого случая, когда трое революционеров почти десять часов отстреливались от полиции и войск, окруживших дом, и кончили тем, что все трое бежали из подожженного дома.

«Ну и фигура! – думал очень довольный Саша, вспоминая длинные ноги, велосипедную шапочку и круглые наивные глаза нового знакомого, – я ведь предположил, что он не из важных, а он вот какой!» В одном, наиболее осведомленном месте к Колесникову отнеслись резко отрицательно, даже с явной враждебностью, и упомянули о каком-то чрезвычайно широком, но безумном и даже нелепом плане, который он предложил комитету; в чем, однако, заключался план, говоривший не знал, а может быть, и не хотел говорить. О том же плане и так же смутно, недоумевая, рассказал Саше присяжный поверенный Ш., сам не принадлежавший ни к какой партии, но бывший в дружбе и постоянных сношениях чуть ли не со всей подпольной Россией.

– Не знаю, не знаю, Господь с ним! – торопливо говорил Ш. и пальцами, которые у него постоянно дрожали, как у сильно пьющего или вконец измотанного человека, расправлял какие-то бумажки на столе. – Вероятно, что-нибудь этакое кошмарное, в духе, так сказать, времени. Но и то надо сказать, что Василий Васильевич последнее время в состоянии... прямо-таки отчаянном. Наши комитетчики...

Ш. улыбнулся и, скрывая улыбку, потер дрожащими пальцами свой длинный, утинообразный нос.

– Наши боевики... люди местные, мирные и, так сказать, уже отдали дань. Вы слышали, Александр Николаевич, что на днях из комитета вышли еще двое?

– Я мало осведомлен, – сказал Саша и покраснел.

– Да, да, ну, конечно! Да это и не важно, этого уже давно следовало ожидать. А скажите, Александр Николаевич, зачем собственно...

Но в эту минуту в прихожей раздался звонок, и уже пожилой, плешивый, наполовину седой адвокат вздрогнул так сильно, что Саше стало жалко его и неловко. И хотя был приемный час и по голосу прислуги слышно было, что это пришел клиент, Ш. на цыпочках подкрался к двери и долго прислушивался; потом, неискусно притворяясь, что ему понадобилась книга, постоял у книжного богатого шкапа и медленно вернулся на свое место. И пальцы у него дрожали сильнее.

– Ужасные времена! – сказал он, точно оправдываясь перед юношей. – Да, так что я хотел вас спросить? Кажется...

– О Колесникове – зачем мне понадобились справки, – предупредил Саша, с тоскою глядя на дрожащие, бледные пальцы с синеватыми шлифованными ногтями. – Меня просто заинтересовал этот человек.

– Да, да, ну, конечно, он человек интересный. Я, собственно, и не желаю вмешиваться... – Он виновато опустил глаза и вдруг решительно сказал: – Я хочу только предупредить вас, Александр Николаевич, что во имя, так сказать, дружбы с Еленой Петровной и всей вашей милой семьей – будьте с ним осторожны! Он человек, безусловно, честный, но... увлекающийся.

И уже у двери, провожая Сашу, он сказал:

– Странное явление: я уже два месяца не имею известий от моего Франца. Положим, и вся ваша братия, студенты – ведь вы почти уже студент! – неохотно пишут родителям, но сегодня вдруг получаю обратно денежный перевод. Придется, пожалуй, самому отвезти, а? – Он неестественно засмеялся и закашлялся. И, откашлявшись, с хрипотою в голосе уже серьезно прошептал: – Да, все силы революции разбиты.

Несколько дней Саша напрасно поджидал Колесникова – сам идти не хотел, хотя узнал и адрес – и уже решил, что встреча и разговор их были чистою случайностью, когда на пятый день, вечером, показалась велосипедная шапочка. Выяснилось, что от промоченных ног Колесников простудился и два дня совсем не выходил из дома. К огорчению Саши, ни о своем заграничном плане и ни о чем важном и интимном Колесников говорить не стал, а вел себя как самый обыкновенный знакомый: расспрашивал Погодина о гимназии и подшучивал над гимназистами, которые недавно сели в лужу с неудавшейся забастовкой. Под конец даже заскучал и откровенно зевнул. «Успокою маму!» – подумал Саша и предложил ему пойти пить чай в столовую. Колесников оживился.

– С удовольствием, того-этого. Я и сам хотел попроситься, да знаю, как у вас в семье строго насчет знакомств. С удовольствием, с удовольствием!

«И откуда он все знает?» – нахмурился Саша и с некоторой тревогой повел гостя в столовую. Но с первых же слов, с неловкого, но почтительного поклона и вопроса о здоровье Елены Петровны гость повел себя так просто и даже душевно, как будто век был знаком и был лучшим другом семьи. Станным было то любопытство, с которым он оглядывал квартиру: не только в гостиной изучил каждую картинку, а для некоторых лазил даже на стул, но попросил показать все комнаты, забрел в кухню и заглянул в комнату прислуги. Впрочем, и все, первый раз бывавшие у Погодиных, также любопытствовали; и было неприятно только то, что свой инспекторский осмотр Колесников мог заключить какой-нибудь нетактичной фразой и даже упреком – бывало и это в последние года. И у всех отлегло от сердца, когда, вернувшись в столовую и берясь за охолодавший чай, Колесников решительно и твердо заявил:

– Хорошо, того-этого, чудесно! Молодец вы, Елена Петровна. А это что? – шкаф! То-то в вашей комнате и книг мало, а они здесь. Ну-ка, ну-ка! Посмотрим, того-этого.

И со свечкой полез смотреть книги, а Елена Петровна и Линочка переглянулись с улыбкой.

– Так, так! – гудел он, – всегда надо знать, что люди читают. Здорово, того-этого. Ого! – а вы и по-французски читаете?

– Читаю, – ответил Саша.

– Вот что значит хорошее-то воспитание! Искренно завидую. А я пробовал в тюрьме учить итальянский...

– Почему итальянский? – улыбнулась Елена Петровна.

– Не знаю, того-этого, посоветовали, да все равно не выучил. Пока учу, ничего, как будто идет, а начну думать, так, батюшки мои: русские-то слова все итальянские и вышибли. Искал я, кроме того, как по-итальянски «того-этого», да так и не нашел, а без «того-этого» какой же, того-этого, разговор?

Все засмеялись, а Саша смотрел на мать, на ее темные, без блеска, теперь повеселевшие глаза, и думал: «А если бы ты знала про энского губернатора, смеялась бы ты?»

И то понравилось, что за ужином Колесников плотно покушал: Елена Петровна боялась людей, которые мало едят; и то было приятно, что он обратил внимание на Линочкины таланты и после ужина попросил ее поиграть на рояле.

– Ну, а меня извините, – сказал Саша, – я пойду займусь.

– А как же музыка, того-этого?

– Я ее не слышу. Говорил же я вам, Василий Васильевич, что у меня нет талантов.

Елена Петровна недовольно заметила:

– Зачем так говорить, Саша? Я не люблю, когда ты даешь о себе неверное представление.

И музыку Колесников слушал внимательно, хотя в его внимании было больше почтительности, чем настоящего восторга; а потом подсел к Елене Петровне и завел с нею продолжительный разговор о Саше. Уже и Линочка, зевая, ушла к себе, а из полутемной гостиной все неся гудящий бас Колесникова и тихий повествующий голос матери.

– Да, трудно с детьми, – скромничала Елена Петровна, а глаза у нее светились, и в красной тени шелкового абажура лицо казалось молодым и прекрасным.

– Хороший мальчик! – убежденно гудел Колесников. – Главное, того-этого, чистый.

– Да, уж такой чистый! – вздохнула Елена Петровна. – Ах, если бы вы знали, Василий Васильевич!

И замолчала, задумавшись о муже. Колесников быстро, искоса взглянул на нее, но сейчас же сделал равнодушное лицо и даже засвистал потихоньку. Слышно было, как в своей комнатке ходит Саша. Еще раз искоса Колесников взглянул на задумавшуюся мать и почувствовал, что думы ее надолго, и внимательно начал оглядывать незнакомую квартиру. И, взгляни на него в эту минуту Елена Петровна, она поразилась и, пожалуй, испугалась бы того вида оценщика, с каким гость как бы вторыми гвоздями прибивал к стене своим взглядом каждую картинку, каждую, расшитую ее руками, портьеру. «А папашиного портрета нет», – подумал Колесников и улыбнулся в бороду. Вдруг Елена Петровна, продолжая что-то свое, спросила:

– Вы видели его глаза?

Колесников несколько замялся.

– Хорошие глаза, того-этого.

– Нет, – а выражение?.. Ну да что, Василий Васильевич: видно, вам никогда не приходилось разговаривать с матерью, а то знали бы, что мать не переслушаешь. Ого, уже час, а Сашенька еще не спит. Учится, – улыбнулась она, – как он не скрытничает, а знаю я, до чего ему хочется в университет!

И с этого вечера, о котором впоследствии без ужаса не могла вспомнить Елена Петровна, началось нечто странное: Колесников стал чуть ли не ежедневным гостем, приходил и днем, в праздники, сидел и целые вечера; и по тому, как мало придавал он значения отсутствию Саши, казалось, что и ходит он совсем не для него. Первое время Елена Петровна была очень довольна, но уже скоро стала задумываться и тревожиться; и тревожило ее все то же ненасытимое любопытство, с каким Колесников продолжал присматриваться к вещам и людям. «И чего он высматривает? И чего он ищет?» – волновалась Елена Петровна, и однажды пожаловалась даже Линочке.

– Ах, да мало ли кто к нам ходит, мамочка. Ты только вспомни, сколько у нас опять народу бывает.

– Народу бывает много! Но только почему он все расспрашивает о Саше, а приходит тогда, когда Сашеньки и дома нет. Мне это не нравится.

– Очень просто: потому что Саша самый интересный человек. Вот и Женя Эгмонт...

– Бедная Женя!

– Бедная Женя.

Обе они улыбнулись, и в улыбке сестры было столько же гордости, как и в улыбке матери. Бедная Женя Эгмонт! Но хоть и засмеялась Линочка, а сама почувствовала беспокойство и также с тревогой начала приглядываться к Колесникову, – но, сколько ни глядела, ничего понять не могла. И временами успокаивалась, а минутами в прозрении сердца ощущала столь сильную тревогу, что к горлу поднимался крик – то ли о немедленном ответе, то ли о немедленной помощи. А Елена Петровна со стыдом и раскаянием думала о своем грехе: этому незнакомому и в конце концов подозрительному человеку, Колесникову, она рассказала о том, чего не знала и родная дочь – о своей жизни с генералом.

Смущало и то, что Колесников, человек, видимо, с большим революционным прошлым, не только не любил говорить о революции, но явно избегал всякого о ней напоминания. В то же время, по случайно оброненным словам, заметно было, что Колесников не только деятель, но и историк всех революционных движений – кажется, не было самого ничтожного факта, самого маленького имени, которые не были бы доподлинно, чуть ли не из первых рук ему известны. И раз только Колесников всех поразил.

Саша был дома, и все сидели в столовой, когда зашла речь о каком-то провокаторе, только что объявленном газетами. Елена Петровна кончала брезгливую фразу, когда Колесников вдруг вскочил и завертелся на четырех шагах.

– Как это можно? Как это можно? – неистово загудел он, как придорожный в поле столб, на который с размаху налетел бурный ветер. – Боже ты мой, какое, того-этого, наказание, глазам ведь смотреть стыдно. Какое наказание! А оттого, что народ забыли, руки не чисты, что все бабники, того-этого, сластены, приходы делят! А что такое революция? Кровь же народная, за нее ответ надо дать – да какой же ты ответ дашь, если ты не чист? Какой же в тебе, того-этого, смысл! Жизнью жертвуешь, да? А жандарм не жертвует? А сыщик не жертвует? А любой дурак на автомобиле не жертвует?

Саша хмуро смотрел вниз и вздрогнул, когда голос загудел прямо над его головою:

– Нет, ты будь чист, как агнец! Как стеклышко, чтобы насквозь, того-этого, светилося! Не на гульбище идешь, а на жертву, на подвиг, того-этого, мученический, и должен же ты каждому открыто, без стыда, взглянуть в глаза!

Саша поднял глаза; и твердо приняли эти жуткие, обведенные самой смертью глаза суровый и жестокий взгляд круглых, почти безумно горящих глаз Колесникова. И уже говоря прямо в чистую глубину юношеского взора, забыв о побледневшей Елене Петровне, он испуганно продолжал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.